

# Стена

**Автор:**

Жан-Поль Сартр

Стена

Жан-Поль Сартр

Эксклюзивная классика (АСТ)

Этот единственный сборник малой прозы Сартра объединяет общая тема – тема свободы. Свободы, которую одни мечтают обрести, а другие – ограничить.

«Стена» – спрессованная в одну-единственную ночь история человека, жить которому до рассвета...

«Комната» – трагедия двоих, вынужденных быть рядом, но не вместе, мечтающих обрести друг друга, но не умеющих друг друга услышать и понять.

«Герострат» – абсолютно неожиданный взгляд на... убийство. Что лежит в его основе? Ненависть к людям или самому себе? Желание прославиться или стать свободным?

«Интим» – поединок между мужчиной и женщиной, любовью и ненавистью, чувствами и долгом.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Жан Поль Сартр

Стена

Jean-Paul Sartre

LEMUR

Перевод с французского Л. Григорьяна, Д. Вальяно

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, 1939

© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2014

© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Стена

Нас втолкнули в просторную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых похожих друг на друга блондина, я подумал: наверно, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки – явно нервничал.

Все это тянулось уже около трех часов, я совершенно отупел, в голове звенело. Но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно: целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов поодиночке к столу.

Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: «Участвовал в краже боеприпасов?», или: «Где был и что делал десятого утром?» Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают, молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. У Тома спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно – они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.

– Вы же знаете, – сказал Хуан, – это мой брат Хозе – анархист. Но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.

Они молча продолжали писать. Хуан не унимался:

– Я ни в чем не виноват. Не хочу расплачиваться за других. – Губы его дрожали.

Конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.

– Ваше имя Пабло Иббиета?

Я сказал, что да. Субъект заглянул в бумаги и спросил:

– Где скрывается Рамон Грис?

– Не знаю.

– Вы прятали его у себя с шестого по девятнадцатое.

– Это не так.

Они стали что-то записывать, потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан.

Нас повели. Том спросил у одного из конвоиров:

– А дальше что?

– В каком смысле? – отозвался тот.

– Что это было – допрос или суд?

– Суд.

– Ясно. И что с нами будет?

Конвойный сухо ответил:

– Приговор вам сообщат в камере.

То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и всюду гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие пять дней я провел в карцере одного архиепископства – что-то вроде одиночки, каменный мешок времен Средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане: там я не коченел от стужи, был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня по крайней мере была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта: он страшно трусил, да и был слишком молод, ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно.

В подвале были скамья и четыре циновки. Когда за нами закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:

– Ну все. Теперь нам крышка.

– Наверняка, – согласился я. – Но малыша-то они, надеюсь, не тронут.

– Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.

Я взглянул на Хуана: казалось, он нас не слышит. Том продолжал:

– Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.

– А как же с экономией бензина?

Том меня раздражал: к чему он все это рассказывает?

– А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.

– Уверен, что тут они этого делать не станут, – сказал я, – чего-чего, а боеприпасов у них хватает.

Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверно, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся.

– Проклятье! – пробормотал он. – Меня всего колотит. Этого еще не хватало!

Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы: я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи, и я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.

– Ну что, согрелся?

– Нет, черт побери. Только запыхался.

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

– Фамилии этих трех?

Тот ответил:

– Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

– Стейнбок... Стейнбок... Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.

Он поглядел в список еще раз:

– Оба других тоже.

– Но это невозможно, – пролепетал Хуан. – Это ошибка.

Комендант удивленно взглянул на него:

– Фамилия?

– Хуан Мирбаль.

– Все правильно. Расстрел.

– Но я же ничего не сделал, – настаивал Хуан.

Комендант пожал плечами и повернулся к нам:

– Вы баски?

– Нет.

Комендант был явно не в духе.

– Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен?

Мы промолчали. Комендант сказал:

– Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.

Козырнув, он вышел.

– Ну, что я тебе говорил? – сказал Том. – Не поскупились.

– Это уж точно, – ответил я. – Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган – такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

– Оставь его, – сказал я Тому. – Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку – это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти – не было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

– Послушай, – спросил Том, – ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и

я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: «Ну вот, начинается!» А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заприметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними – белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес:

– Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами.

Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него:

– А, собственно, зачем?

– Я весь к вашим услугам. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы.

– Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других.

– Меня послали именно сюда, – ответил он неопределенно. И тут же торопливо добавил: – Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары.

Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары, мы отказались. Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему:

– Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут

поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

- Принести лампу? - неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как замороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными.

Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал. «Сволочь! - в бешенстве подумал я. - Пусть только попробует щупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу». Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову, то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

- Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

– Нет, мне не холодно, – ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозгом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу.

Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мои стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустил на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

– Вы врач?

– Врач, – ответил бельгиец.

– Скажите... а это больно и... долго?

– Ах, это... когда... Нет, довольно быстро, – ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

– Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

– Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

– И тогда перезаряжают ружья и целятся снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

– И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался потом вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно голубыми и невесомыми, я представлял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал, – потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга, и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

– Ты в состоянии это понять? – спросил он. – Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

– О чем ты?

– О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию. – Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

– Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

– Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как по-твоему, сколько их будет?

– Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

– Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: «На прицел!» – и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

– Знаю, – ответил я. – Я представляю это не хуже тебя.

– Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо. – Голос его стал злобным. – Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы.

Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

– Потом? – сказал я сурово. – Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь: наши

мысли его не интересовали, он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

– Это как в ночном кошмаре, – продолжал Том. – Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута – и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет». Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме, и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, вззирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться – для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

– Заткнись, – сказал я ему. – Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе, – мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Грису. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен, все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные

люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

– Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

– Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

– Что это? – пробормотал он растерянно.

– Ты напустил в штаны, – ответил я.

– Вранье! – прокричал он в бешенстве. – Вранье! Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие.

– Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

– Не знаю, как это вышло. – Голос Тома стал яростным. – Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свод записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось

пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону – три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове; возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не сопротивился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде.

Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть: я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом – я боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад и вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае, такими они мне казались ДО. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих

дядюшек, лицо Рамона Гриси. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами? Если б я только мог предположить, что сгину подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик – ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть: к примеру, мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это былого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

– Друзья мои, – сказал он, – я готов взять на себя обязательство – если, конечно, военная администрация будет не против – передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

– У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

– Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

– Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней

год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом: это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно: меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии – они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать – несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я – тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал: меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина, мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

- Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул – мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

- Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным – я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно – больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:

- Ты слышишь?

- Да.

Со двора доносились звуки шагов.

– Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.

Через минуту все стихло. Я сказал Тому:

– Светает.

Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:

– Продрог как собака.

Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.

– Начинается, – сказал я Тому. – По-моему, они это делают на заднем дворе.

Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли непрерывно.

– Понял? – сказал Том.

Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.

– Стейнбок?

Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.

– Хуан Мирбаль?

– Тот, что на циновке.

– Встать! – выкрикнул лейтенант.

Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.

– Это уже не первый в таком виде, – сказал лейтенант. – Придется его нести, ничего, все будет в порядке.

Он повернулся к Тому:

– Выходи.

Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:

– Это вы – Иббиета?

– Да.

– Придется подождать. За вами скоро придут.

Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было не ясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалились в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

– Твоя фамилия Иббиета?

– Да.

– Где скрывается Рамон Грис?

– Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

– Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь по сильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

– Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая пруть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

– Ну что, ты понял?

– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.

– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запереться, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытаться (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:

– Гляди, крыса.

Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:

– Сбрей усы, кретин.

Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.

– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупей и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.

– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.

– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.

– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.

Я подумал, что не так его понял. Я спросил:

– Как, разве меня не расстреляют?

– Во всяком случае, не сейчас. И потом, это уже не по моей части.

Я все еще не понимал.

– Но почему?

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

- А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

- Они приговорили меня к расстрелу, - отозвался я, - а потом передумали. Не могу понять почему.

- Меня взяли в два часа, - сказал Гарсиа.

- За что?

Гарсиа политикой не занимался.

- Понятия не имею, - ответил Гарсиа, - они хватают каждого, кто думает не так, как они.

Он понизил голос:

- Грис попался.

Я вздрогнул.

- Когда?

- Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».

- На кладбище?

– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

– На кладбище!

Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.

Комната

I

Мадам Дарбеда держала в пальцах рахат-лукум. Она осторожно приблизила его к губам и задержала дыхание, опасаясь, что взлетит легкая сахарная пудра. Она подумала: «Этот рахат-лукум из лепестков розы». Потом резко прокусила стекловидную плоть, запах гнили тотчас заполнил ее рот. «Любопытно, как болезнь утончает ощущения». Мадам Дарбеда вспомнила мечети и слащавых, покорных людей Востока (она провела в Алжире свое свадебное путешествие), и на ее бледных губах возникло подобие улыбки: рахат-лукум был тоже сладок и покорен.

Пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, так как, несмотря на предосторожность, они покрылись тонким слоем белой сахарной пыли. Под руками мадам Дарбеда на гладкой бумаге похрустывали маленькие крупички сахара. «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже...» Лето 1907 года она провела на берегу моря. Она носила тогда широкополую соломенную шляпу с зеленой лентой; мадам Дарбеда располагалась около дамбы с романом Жип или Колетт. Ветер швырял на ее колени горсти песка, и время от времени она трясла книгу, держа ее за углы. То же самое ощущение: только песчинки были совсем сухие, а маленькие пылинки сахара немного прилипали к пальцам. Она вновь представила полоску жемчужно-серого неба над темным морем. Ева тогда еще не родилась. Мадам Дарбеда была доверху заполнена воспоминаниями и ощущала себя драгоценной, как сандаловая шкатулка. Внезапно в ее памяти всплыло название романа: он назывался «Маленькая женщина» и был занятным. Но с тех пор, как непонятный недуг

приковал ее к этой комнате, мадам Дарбеда предпочитала мемуары и исторические опусы. Ей хотелось, чтобы благодаря своим страданиям, серьезному чтению, сосредоточенным воспоминаниям и прихотливым ассоциациям она вызревала как прекрасный оранжерейный плод.

Она подумала немного раздраженно, что скоро в дверь постучит ее муж. В остальные дни недели он приходил только к вечеру, молча целовал ее в лоб и, усевшись напротив нее в глубоком кресле, читал «Тан». Но четверг был «днем» месье Дарбеда. В течение часа он должен был быть у дочери – обычно с трех до четырех. Перед этим он заходил к жене, и оба они с горечью говорили о зяте. Эти разговоры по четвергам, известные заранее до мельчайших деталей, изнуряли мадам Дарбеда. Месье Дарбеда переполнял спокойную комнату своим присутствием. Он непрерывно шагал взад-вперед, делал резкие повороты. Его повадки ранили мадам Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот же четверг было еще хуже, чем обычно: при одной мысли, что сегодня ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как его большое устрашающее тело подпрыгнет от ярости, ей становилось дурно. Ее прошибло потом. Она взяла с блюда рахат-лукум, нерешительно рассматривала его несколько мгновений, затем грустно положила назад: ей не хотелось, чтобы муж видел, как она лакомится этой сладостью.

Услышав его стук, она вздрогнула.

– Входи, – сказала она слабым голосом.

Месье Дарбеда вошел на цыпочках.

– Сейчас пойду к Еве, – сказал он, как обычно.

Мадам Дарбеда улыбнулась.

– Поцелуй ее за меня.

Месье Дарбеда не ответил, озабоченно наморщив лоб: в каждый четверг, в один и тот же час он ощущал глухое раздражение и одновременно тяжесть в желудке.

– Потом зайду навестить Франшо, я попрошу его серьезно с ней поговорить, сделать еще одну попытку.

Он часто посещал доктора Франшо. И все напрасно. Мадам Дарбеда подняла брови. Раньше, когда она была здорова, то часто пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь опутала ее тело, она заменила утомительные жесты игрой лица: она говорила «да» глазами, «нет» уголками губ, поднимала брови вместо плеч.

– Любой ценой Еву необходимо у него отнять.

– Я тебе уже говорил, что это невозможно. Наши законы несовершенны. Франшо однажды признался мне, что у них невообразимые неприятности с семьями: люди не решаются отдать больного, у врачей связаны руки, они могут лишь высказать свое мнение, не больше. Нужно, чтоб он устроил публичный скандал или чтоб она сама попросила о его помещении в клинику.

– Но это будет нескоро.

– Увы.

Он обернулся к зеркалу, запустил пальцы в бороду и начал ее расчесывать. Мадам Дарбеда бесстрастно смотрела на его красный мощный затылок.

– Если она не решится, – сказал месье Дарбеда, – то свихнется сама. Все это ужасно. Она его не покидает ни на минуту, выходит только проведать тебя, никого не принимает. В их комнате просто нельзя продохнуть. Она никогда не открывает окно, потому что Пьер этого не хочет. Как будто нужно спрашивать разрешения у больного. Они жгут благовония, какую-то гадость в курильнице. Можно подумать, что заходишь в церковь. Ей-богу, иногда мне кажется... знаешь, у нее стали странные глаза.

– Не заметила, – не согласилась мадам Дарбеда. – По-моему, она выглядит как всегда, только грустна, но это естественно.

– Ева бледна как смерть. Спит ли она? Ест ли? Я не могу ее об этом спросить. Но уверен, что по ночам, когда Пьер рядом, она не смыкает глаз. – Он пожал

плечами. – Мне кажется невероятным, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Уверяю тебя, за Пьером будут лучше ухаживать у Франшо. Там большой парк. И потом, я думаю, – добавил он, слегка улыбнувшись, – что он лучше найдет общий язык с себе подобными. Эти существа, как дети, их нужно оставлять в своей компании; у них что-то вроде масонского ордена. Именно туда следовало его поместить с самого начала ради него самого. Это, безусловно, было бы в его интересах. – После паузы он добавил: – Признаюсь тебе, мне тяжело сознавать, что она остается с Пьером наедине, особенно ночью. Представь, если что-нибудь случится... У Пьера ужасно противоестественный вид.

– Не знаю, – сказала мадам Дарбеда, – стоит ли тут беспокоиться, ведь такой вид был у него давно, всегда казалось, что он над всеми смеется. Бедный мальчик, – продолжала она, вздыхая, – с его гордыней дойти до такого! Он считал себя умнее всех. У него была манера всем говорить: «Вы правы», только чтоб избежать спора... Это для него счастье, что он не сознает своего положения.

Она с неудовольствием вспомнила его удлиненное ироническое лицо, всегда немного склоненное набок. В первое время замужества Евы мадам Дарбеда очень хотела установить с зятем задушевные отношения, но Пьер пресек ее усилия: он почти всегда молчал или с отсутствующим видом поспешно с ней соглашался.

Месье Дарбеда продолжал:

– Франшо пригласил меня посетить его клинику – она великолепна. Больные имеют отдельные комнаты, там кожаные кресла, как тебе нравятся, и диван-кровати. Есть даже теннисный корт, скоро будут строить бассейн.

Он остановился у окна и посмотрел сквозь стекло, немного раскачиваясь на своих кривых ногах. Потом ловко повернулся на каблуках, опустив плечи и засунув руки в карманы. Мадам Дарбеда почувствовала, что сейчас она покроется потом; каждый раз одно и то же: теперь он зашагает взад-вперед, как медведь в клетке, и при каждом шаге его башмаки будут скрипеть.

– Друг мой, – сказала она, – умоляю тебя, сядь! Ты меня утомляешь. – И поколебавшись, добавила: – Я должна тебе сказать нечто важное.

Месье Дарбеда сел в кресло, положив руки на колени; легкая дрожь пробежала по позвоночнику мадам Дарбеда: никуда не денешься, придется сказать все.

- Ты знаешь, - молвила она, смущенно кашлянув, - что во вторник я видела Еву. - Да.

- Мы болтали о разных пустяках, Ева была очень мила, я давно уже не видела ее такой сердечной. Я ее немного порасспрашивала, навела разговор на Пьера. И вот что я узнала, - добавила она смущенно, - Ева очень дорожит им.

- Мне это хорошо известно, черт возьми! - вскричал месье Дарбеда.

Он ее немного злил: ему всегда нужно было тщательно все объяснять, ставя точки над I. Мадам Дарбеда мечтала жить и общаться с людьми более тонкими, чуткими, понимающими ее с полуслова.

- Но я хочу сказать, - продолжала она, - что она иначе дорожит им, чем нам кажется.

Месье Дарбеда завращал беспокойными и гневными глазами, так он делал всегда, когда не очень хорошо понимал какой-нибудь намек или околичность.

- Что ты имеешь в виду?

- Шарль, - сказала она, - не утомляй меня. Ты должен понимать, что мне как матери кое о чем трудно говорить впрямую.

- Не понимаю ни словечка из того, что ты мне рассказываешь, - сказал с раздражением месье Дарбеда. - Что ты имеешь в виду?

- Ладно, скажу, - сдалась она.

- Как, они еще... и сейчас?

- Да! Да! Да! - раздраженно выкрикнула она три маленьких резких слова.

Месье Дарбеда развел руками, склонил голову и замолчал.

- Шарль, - взволнованно сказала мадам Дарбеда, - я не должна была тебе это говорить. Но я не могла этого утаить от тебя.

- Наше дитя! - простонал он. - С этим сумасшедшим! Ведь он ее даже не узнает, он зовет ее Агатой. Нет, для этого нужно утратить последние остатки здравого смысла.

Он поднял голову и сурово посмотрел на жену.

- А ты уверена, что правильно ее поняла?

- В этом нет никакого сомнения, - заверила она, - я, как и ты, сначала не поверила ей, к тому же я ее не могу понять. При одной только мысли, что этот несчастный может притронуться... Нет, я все поняла правильно, - вздохнула она, - полагаю, что этим он ее и держит.

- Ты помнишь, - сказал месье Дарбеда, - что я тебе говорил, когда он пришел просить ее руки? Я сказал: «Думаю, что он слишком нравится Еве». А ты не захотела меня понять. - Вдруг он ударил кулаком по столу и побагровел. - Но это же разврат! Он заключает ее в объятия, целует, называя Агатой, несет всякую околесицу о летающих статуях и еще черт знает что! И она ему это позволяет! Но что их связывает? Пусть она его жалеет от всего сердца, но пусть она поместит его в клинику, где сможет видеть его каждый день, в добрый час. Нет, никогда бы не подумал... Я считал ее вдовой. Послушай, Жаннета, - сказал он серьезно, - я буду говорить откровенно: раз уж она так чувственна, я бы предпочел, чтоб она завела себе любовника!

- Шарль, замолчи! - возмутилась мадам Дарбеда.

Месье Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, войдя, положил на круглый столик.

- После того, что ты мне сказала, - заключил он, - у меня почти не остается надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.

Мадам Дарбеда постаралась побыстрее его спровадить.

– Знаешь, – сказала она, чтобы его подбодрить, – я все же надеюсь, несмотря на все это, у Евы больше упрямства, чем... другого. Она знает, что он неизлечим, и все же упорствует, она не хочет, чтобы диагноз еще раз подтвердили.

Месье Дарбеда задумчиво погладил бороду.

– Упрямство? Да, может быть. Ну что ж, если ты права, она в конце концов устанет. Он и всегда-то был не шибко общителен, а сейчас он и вовсе молчит. Когда я с ним здороваюсь, он мне молча протягивает вялую руку. Как только они остаются одни, он возвращается к своим навязчивым идеям: она мне сказала, что он кричит как резаный, потому что у него галлюцинации. Статуи. Они ему внушают страх, когда, жужжа, проносятся над ним. Он убежден, что они летают, глядя на него своими мертвыми белыми глазами. – Он надел перчатки и продолжил: – В конце концов, она устанет, говорю тебе. Но что если раньше она расстроит себе нервную систему? Я хотел бы, чтоб она хоть немного выходила, видела людей: возможно, она встретила бы какого-нибудь приятного молодого человека – вроде Шредера, который работает инженером у Симплона; кого-нибудь с будущим. Она иногда видела бы его то у одних, то у других знакомых и постепенно обвыклась бы с мыслью, что пора начинать новую жизнь.

Мадам Дарбеда, желая сократить разговор, промолчала. Муж склонился над ней.

– Ну все, – сказал он, – мне пора идти.

– Пока, папуля, – сказала мадам Дарбеда, подставляя ему лоб, – поцелуй ее крепко и скажи, что мы ее любим и жалеем.

Когда муж ушел, мадам Дарбеда слегка пошевелилась в глубоком кресле и устало прикрыла глаза. «Какая жизнеспособность!» – подумала она с упреком. Немного восстановив силы, она осторожно протянула бледную руку и взяла с блюдца рахат-лукум, на ощупь, не открывая глаз.

Ева жила с мужем на шестом этаже старого дома на улице Бак. Месье Дарбеда легко поднялся по ста двенадцати ступенькам. Даже не запыхавшись, он нажал на кнопку звонка. С удовольствием вспомнил слова мадам Дормуа: «Для ваших лет, Шарль, вы просто молодец». Никогда он не ощущал себя сильнее и бодрее,

чем по четвергам, особенно после этих восхождений.

Ему открыла Ева. «Действительно, у нее нет горничной. Эти девушки не могут тут оставаться: я их понимаю». Он исцеловал ее: «Здравствуй, моя бедная детка».

Ева поздоровалась с ним с некоторой холодностью.

– Ты немного бледненькая, – сказал месье Дарбеда, касаясь ее щеки, – ты мало двигаешься.

Наступило молчание.

– Как себя чувствует мама? – спросила Ева.

– Так себе. Ты видела ее во вторник? Вчера ее навестила тетя Луиза, это доставило ей удовольствие. Она любит принимать визиты, но нельзя, чтоб они длились слишком долго. Тетя Луиза приехала в Париж с детьми ради этой истории с залогом. Она заходила ко мне в бюро посоветоваться. Я сказал ей, что выхода нет: нужно продавать. Она уже нашла покупателя: это Бретонель. Ты помнишь Бретонеля? Сейчас он удалился от дел.

Внезапно он остановился: Ева едва его слушала. Он с грустью подумал, что она больше ничем не интересуется. «Это как с книгами. Когда-то приходилось их у нее вырывать. Теперь она даже не читает».

– Как себя чувствует Пьер?

– Хорошо, – сказала Ева. – Хочешь его повидать?

– Ну конечно, – сказал месье Дарбеда и добавил шутливым тоном: – Хочу испросить у него маленькую аудиенцию.

Он был полон сострадания к этому несчастному малому, но не мог смотреть на него без брезгливости. «Я испытываю отвращение к нездоровым людям. Совершенно очевидно, что Пьер не виноват, у него тяжелейшая наследственность». Месье Дарбеда вздыхал: «Осмотрительность бесполезна,

такое всегда узнаешь слишком поздно». Нет, Пьер не отвечает за свою болезнь. И все же он всегда носил в себе эту порчу: она повлияла на самую суть его характера. Это совсем не то, что при раке или туберкулезе, если хочешь судить о человеке, от них можно отвлечься. Его нервное изящество, его subtilность, которая так нравилась Еве, когда он за ней ухаживал, – все это были цветы его безумия. Он уже был сумасшедшим, когда на ней женился, только до времени это не проявлялось. Спрашивается, подумал месье Дарбеда, где начинается ответственность, или, скорее, где она кончается? Во всяком случае, Пьер слишком дотошно себя анализировал, был замкнут на себе. Но причина ли это или уже следствие его недуга? Месье Дарбеда проследовал за дочерью по длинному темному коридору.

– Эта квартира слишком велика для вас, – сказал он, – вам нужно ее сменить.

– Ты мне каждый раз говоришь это, папа, – ответила Ева, – но я тебе уже отвечала, что Пьер не хочет покидать свою комнату.

Ева изумляла его: неясно, понимает ли она действительное состояние мужа. Ведь он буйнопомешанный, а она считается с его мнением, как будто он в своем уме.

– Но пойми, мы тревожимся о тебе, – продолжал месье Дарбеда, слегка раздосадованный. – Мне кажется, будь я женщиной, мне было бы страшно в этих старых, плохо освещенных комнатах. Я выбрал бы для тебя светлую квартиру, какие строят в последние годы рядом с Отей, три маленькие, хорошо проветриваемые комнаты. Хозяева снизят квартирную плату, так как не находят жильцов. Сейчас как раз удачный момент.

Ева тихо повернула защелку, и они вошли в комнату. У месье Дарбеда запершило в горле от тяжелого запаха ладана. Шторы были задвинуты. В полумраке он различил худой затылок над спинкой кресла. Пьер сидел к нему спиной: он ел.

– Здравствуй, Пьер, – сказал месье Дарбеда, повышая голос. – Ну как мы себя сегодня чувствуем?

Он подошел ближе: больной отрешенно сидел за столиком.

– Так-так, сегодня мы едим яйца всмятку, – сказал месье Дарбеда, снова повышая голос, – это хорошо.

– Я не глухой, – тихо сказал Пьер.

Месье Дарбеда, опешив, посмотрел на Еву, как бы призывая ее в свидетели. Но Ева ответила ему суровым взглядом и промолчала. Месье Дарбеда понял, что ранил ее. Ладно, тем хуже для нее. С этим несчастным малым невозможно найти правильный тон: у него меньше разума, чем у четырехлетнего ребенка, а Ева хотела бы, чтобы с ним обращались, как с мужчиной. Месье Дарбеда устал уже ждать момента, когда все эти смешные знаки внимания будут признаны бессмысленными. Больные всегда его немного раздражали, особенно сумасшедшие, потому что они были кругом неправы. Бедный Пьер, к примеру, был неправ всегда: он не мог произнести ни слова, не гордя при этом вздора, и тем не менее бесполезно было требовать от него хоть какого-то смирения или даже мимолетного признания своей неправоты.

Ева убрала скорлупу от яйца и подставку. Потом положила перед Пьером прибор с вилкой и нож.

– Что мы сейчас будем есть? – спросил наигранно весело месье Дарбеда.

– Бифштекс.

Пьер взял вилку и подержал ее кончиками длинных бледных пальцев. Он тщательно ее изучил, потом слегка усмехнулся.

– На этот раз ничего не выйдет, – прошептал он, кладя ее на место. – Меня предупредили.

Ева подошла, с живым интересом посмотрела на вилку.

– Агата, – сказал Пьер, – дай мне другую.

Ева повиновалась. Пьер начал есть. Она взяла подозрительную вилку и, не сводя с нее глаз, зажала в руке. Казалось, это стоило ей огромных усилий. «Как странны все их жесты, все их отношения!» – подумал месье Дарбеда. Ему было

не по себе.

– Осторожно, – сказал Пьер, – возьми ее за середину ручки, не уколись о зубья.

Она вздрогнула и положила вилку на сервировочный столик. Месье Дарбеда почувствовал, что теряет самообладание. Он не считал, что следует поддерживать фантазии этого несчастного, к тому же это пагубно и для Пьера. Франшо ему ясно пояснил: «Никогда нельзя входить в бред больного». Вместо того чтобы давать ему другую вилку, лучше бы его мягко убедить, что первая такая же, как другие. Он подошел к столику, демонстративно взял вилку и прикоснулся пальцами к ее зубьям. Затем повернулся к Пьеру. Но тот спокойно резал мясо: он поднял на своего тестя спокойный невыразительный взгляд.

– Я хотел бы немножко поболтать с тобой, – сказал Еве месье Дарбеда.

Дочь послушно последовала за ним в гостиную. Сев на кушетку, месье Дарбеда заметил, что вилка еще в его руке. С раздражением он бросил ее на столик.

– Здесь лучше, – сказал он.

– Я сюда никогда не захожу.

– Можно закурить?

– Конечно, папа, – поспешно сказала Ева, – хочешь сигару?

Месье Дарбеда предпочел размять сигарету. Он думал не без досады о предстоящем разговоре. Говоря о Пьере, он как-то стеснялся своей разумности, как великан смущается своей силы, когда играет с ребенком.

«С моей бедной Жаннетой, нужно признаться, я испытываю нечто подобное». Конечно, мадам Дарбеда не сумасшедшая, но из-за болезни она кажется... полуспящей. Ева же, напротив, была похожа на отца, с характером прямым и последовательным; когда-то он очень любил с ней спорить. «Именно поэтому я не хочу, чтоб ее разрушили». Месье Дарбеда поднял глаза, он хотел увидеть тонкое и умное лицо своей дочери. Но был разочарован: в лице, недавно таком разумном и открытом, теперь было нечто смутное и непроницаемое. Ева все еще

была красивой. Месье Дарбеда заметил, что она тщательно накрасилась – будто для какого-то торжества. Она подкрасила голубым веки, провела тушью по своим длинным ресницам. Этот сильный и искусный макияж произвел на него удручающее впечатление.

– Под гримом ты совсем зеленая, – сказал месье Дарбеда, – боюсь, как бы ты не заболела. Почему ты стала краситься? Ты ведь всегда была такой скромницей.

Ева не ответила, и месье Дарбеда со смущением рассматривал некоторое время это яркое и изнуренное лицо под тяжелой копной черных волос. Он подумал, что у нее вид трагической актрисы. «Я даже знаю, на кого она похожа. На ту женщину, румынку, которая играла Федру по-французски под стеной Оранжа». Он пожалел, что сделал ей замечание. «У меня это вырвалось! Лучше уж было бы не огорчать ее из-за мелочей».

– Извини, – сказал он, улыбаясь, – но ты же знаешь, что я давний сторонник естества. Терпеть не могу все эти мази, которые современные женщины накладывают себе на лицо. Впрочем, наверно, нужно не отставать от времени.

Ева вежливо улыбнулась. Месье Дарбеда зажег сигарету и сделал несколько затяжек.

– Деточка моя, – начал он, – я предлагаю поболтать, как в добрые прежние времена. Сядь и выслушай меня по-хорошему: нужно доверять своему старому отцу.

– Предпочитаю постоять, – отрезала Ева, – так о чем ты хочешь поговорить?

– Я хочу задать тебе простой вопрос, – сказал месье Дарбеда несколько суше. – К чему все это приведет?

– Все это? – повторила удивленно Ева.

– Да, все, вся эта жизнь, которую ты себе создала. Послушай, – продолжал он, – не считай только, что я тебя не понимаю (внезапно его озарило). Но то, что ты делаешь, выше человеческих сил. Ты хочешь жить только воображением, не так ли? Ты не желаешь замечать, что он болен. Ты не хочешь видеть сегодняшнего

Пьера. Твои глаза видят только прежнего, которого уже не существует. Но, доченька моя, твой зарок выполнить невозможно. Слушай, я тебе расскажу сейчас историю, которую ты, вероятно, не знаешь: когда мы отдыхали в Сабль-д'Олонн, тебе было три года, твоя мать познакомилась с очаровательной женщиной, имеющей чудесного сына. Ты играла с этим мальчуганом на пляже, оба вы были от горшка два вершка, но ты считалась его невестой. Какое-то время спустя, в Париже, твоя мать захотела снова увидеть эту женщину; ей рассказали, что с ней случилось ужасное несчастье: ее красивому сыну снесло голову передним крылом автомобиля. Твоей матери посоветовали: «Пойдите, но ни в коем случае не говорите с ней о смерти ее малыша, она не хочет верить, что он мертв». Твоя мать увидела почти обезумевшее создание: она жила так, будто ее мальчик еще существовал; она разговаривала с ним, ставила на стол его прибор. Так вот, она жила в таком нервном напряжении, что через шесть месяцев ее вынуждены были отправить в клинику, где продержали три года. Да, малышка, – сказал месье Дарбеда, качая головой, – за такое тяжко расплачиваешься. Было бы лучше, если б она мужественно признала истину. Конечно, она бы долго страдала, но потом время зарубцевало бы ее рану. Поверь, нет ничего лучше, чем смотреть жизни прямо в лицо.

– Ты ошибаешься, – сказала она с усилием, – я хорошо знаю, что Пьер...

Ева осеклась. Держалась она очень прямо, положив руки на спинку кресла: снизу лицо ее казалось сухим и неприятным.

– А что дальше? – изумился месье Дарбеда.

– Дальше?

– Ты...

– Я его люблю таким, какой он есть, – раздраженно отрубил Ева.

– Но это неправда! – выкрикнул месье Дарбеда. – Это неправда: ты не любишь его, ты не можешь его любить! Такие чувства можно испытывать только к человеку здоровому и нормальному. К Пьеру ты испытываешь сострадание – я в этом не сомневаюсь, и, конечно, ты хранишь память о трех годах счастья, которыми ты ему обязана. Но не говори мне, что ты его любишь, все равно я тебе не поверю.

Ева продолжала молчать и с отсутствующим видом глядеть на ковер.

- Ты могла бы мне ответить, - холодно проронил месье Дарбеда. - Не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя.

- Но ты же мне не веришь.

- Ну хорошо, если ты его любишь, - в отчаянии воскликнул он, - это огромное несчастье и для тебя, и для меня, и для твоей бедной матери! Сейчас я скажу тебе то, что я предпочел бы скрыть: менее чем через три года Пьер впадет в состояние полного идиотизма, он будет как животное.

Месье Дарбеда сурово посмотрел на дочь: он сердился на нее за то, что она вынудила его своим упрямством сделать такое мучительное признание.

- Знаю. - Ева не моргнула, она даже не подняла глаз.

- Кто тебе это сказал? - ошеломленно спросил он.

- Франшо. Уже семь месяцев, как я знаю.

- А я-то рекомендовал ему пощадить тебя, - сказал он с горечью. - Но, в конце концов, может, так и лучше. Теперь-то ты должна понять, что было бы непростительно и дальше держать его дома. Борьба, которую ты ведешь, обречена на провал, его болезнь неизлечима. Если бы можно было что-то сделать, если бы его можно было спасти с помощью ухода, я не стал бы этому противиться. Но подумай сама: ведь ты красива, умна, жизнерадостна, а губишь себя упрямо и бесполезно. Ладно, допустим, ты достойна восхищения, но вот все кончено, ты выполнила свой долг, больше, чем долг, и теперь просто нелепо упорствовать. Ведь есть долг и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. Нужно, - повторил он, чеканя слова, - чтобы ты отправила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где была так несчастна, и вернешься к нам. Если у тебя есть желание быть полезной и облегчать чужие страдания, то у тебя есть мать. За бедной женщиной ухаживают сиделки, и она очень нуждается в заботе. А уж она сможет оценить то, что ты для нее сделаешь, и будет тебе за это бесконечно благодарна.

Наступило долгое молчание. Месье Дарбеда услышал пение Пьера в соседней комнате. Вообще-то это едва ли можно было назвать пением; скорее нечто вроде речитатива, пронзительного и торопливого. Месье Дарбеда поднял глаза на дочь:

- Ну как?

- Пьер останется здесь, - тихо ответила она, - мы хорошо понимаем друг друга.

- И вы будете предаваться своим каждодневным утехам?

Ева бросила на отца странный взгляд, насмешливый и почти веселый. «Значит, это правда, - подумал месье Дарбеда с яростью, - они только этим и занимаются! Они спят вместе!»

- Ты совершенно безумна, - сказал он, вставая.

Ева грустно улыбнулась и прошептала как бы для себя:

- Не совсем.

- Не совсем? Я могу тебе сказать только одно, дитя мое, ты меня пугаешь.

Он поцеловал ее и вышел. «Нужно было, - подумал он, спускаясь по лестнице, - послать сюда двоих здоровенных парней, которые силой увели бы этого бедного кретина и поставили бы его под душ, не спрашивая ни у кого согласия».

Был прекрасный осенний день, прозрачный и безмятежный, солнце золотило лица прохожих. Месье Дарбеда был поражен простотой и открытостью этих лиц; одни были обветренные, другие гладкие, но все они отражали бесхитростную радость и обыденные заботы. «Я точно знаю, в чем упрекаю Еву, - подумал он, выходя на бульвар Сен-Жермен. - Я ее упрекаю в том, что она живет вне всего человеческого. Ведь Пьер больше не человеческое существо: все заботы, всю любовь, которую она ему дает, она отнимает по крупицам у всех этих людей. Никто не имеет права отказываться от себе подобных, черт подери, все мы живем в одном мире».

Он рассматривал прохожих с симпатией; ему нравились их глаза, то серьезные, то лучезарные. На этих освещенных солнцем улицах, среди людей, чувствуешь себя в безопасности, как среди большой семьи.

Какая-то женщина с непокрытой головой остановилась перед витриной. За руку она держала маленькую девочку.

- Что это? - спросила девочка, показывая на радиоприемник.

- Это такой аппарат, - ответила мать, - он делает музыку.

Они немного постояли в молчаливом благоговении. Растроганный, месье Дарбеда нагнулся к девочке и улыбнулся ей.

## II

«Он ушел». Входная дверь закрылась с сухим стуком. Ева осталась в гостиной одна. «Хоть бы он умер».

Она судорожно впилась руками в спинку кресла: вспомнила глаза отца. Месье Дарбеда склонился над Пьером с понимающим видом; он ему сказал: «Это хорошо!» Он на него посмотрел, как человек, умеющий говорить с больными, и Пьер отразился в глубине его больших живых глаз. «Я его ненавижу, когда он смотрит на Пьера, когда думаю, что он его видит».

Руки Евы соскользнули вдоль кресла, она повернулась к окну. Ее ослепило. Комната наполнилась солнцем, оно было везде: бледные пятна на ковре, сверкающая в воздухе пыль. Ева давно уже отвыкла от этого наглого проворного света, который шарил повсюду, проникал во все углы, очищая мебель, делая ее сияющей, как это делает хорошая хозяйка. Она подошла к окну и подняла муслиновую штору против стекла. В то же самое мгновение месье Дарбеда выходил из дома; Ева про себя отметила его широкие плечи. Он поднял голову и посмотрел на небо, моргая глазами, затем зашагал крупными шагами, как молодой человек. «Он делает над собой усилие, - подумала Ева, - сейчас у него заколет в боку». Она его больше не ненавидела: в этой голове было так мало содержимого, всего лишь малюсенькая забота казаться молодым.

Но гнев овладел ею снова, когда она увидела, что он повернул на углу бульвара Сен-Жермен и исчез. «Он сейчас думает о Пьере». Небольшая часть их жизни выскользнула из закрытой комнаты и волочилась по солнечным улицам, среди людей. «Ну разве нельзя, чтобы нас наконец забыли?»

Улица Бак была почти пустынной. Старая дама мелкими шажками переходила мостовую; прошли смеясь три девушки. А потом мужчины, мужчины сильные и серьезные, несущие свои портфели и разговаривающие между собой. «Нормальные люди», – подумала Ева, удивившись, что она обнаружила в себе такую силу ненависти. Миловидная толстушка побежала навстречу элегантному мужчине. Она обняла его и поцеловала в губы. Ева зло засмеялась и опустила штору.

Пьер больше не пел, но молодая женщина со второго этажа села за пианино: она играла этюд Шопена. Ева понемногу успокоилась: она шагнула по направлению к комнате Пьера, но тотчас же остановилась и с некоторой тревогой прислонилась к стене: как всегда, когда она покидала комнату, ее охватывала паника при мысли, что ей нужно туда вернуться. Однако она знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила эту комнату. С холодным любопытством оглядела она, чтобы выиграть время, это помещение без теней и запаха: она ждала, когда к ней вернется мужество. «Можно подумать, что это кабинет дантиста». Кресла из розового шелка, диван, табуретки были строги, скромны и выглядели как-то по-родственному: добрые друзья человека. Ева представила, как некие серьезные господа в светлых костюмах, похожие на тех, что она видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они даже не тратят времени, чтобы осмотреться; уверенными шагами они приближаются к середине комнаты; один из них, державший руку сзади, как кильватер, прикасается при проходе к диванным подушкам, к предметам на столах, даже не вздрагивая при прикосновении к ним. Когда на пути встречается какая-либо мебель, эти степенные люди не дают себе труда обогнуть ее, а спокойно ее передвигают. Наконец они рассаживаются, все еще погруженные в свою беседу. «Гостиная для нормальных людей», – подумала Ева. Она уставилась на круглую ручку закрытой комнаты, и тревога снова стиснула ей горло: «Нужно вернуться туда. Я никогда не оставляла его одного так долго». Нужно открыть эту дверь, затем она остановится на пороге, попытается приучить глаза к полумраку, и комната будет выталкивать ее изо всех сил. Необходимо преодолеть это сопротивление и углубиться в самое сердце комнаты. Внезапно Еву охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей хотелось посмеяться с ним над месье Дарбеда. Но Пьеру она была не нужна; она не могла предвидеть прием, который он ей уготовил. Внезапно с некоторой гордостью она подумала,

что для нее не было больше места нигде. «Нормальные думают, что я одна из них. Но я не смогла бы оставаться с ними и часа. Мне необходимо жить там, по другую сторону стены. Но там меня не хотят тоже».

Все вокруг нее разом изменилось. Свет как бы постарел, он стал серым: потяжелел, как застоявшаяся вода в цветочной вазе. В этом постарелом свете Ева снова почувствовала меланхолию, о которой она уже давно забыла: меланхолию осеннего послеполудня на исходе. Она посмотрела вокруг, нерешительная, почти робкая: все прочее осталось так далеко. В комнате не было ни дня, ни ночи, ни времени года, ни меланхолии. Она смутно припомнила очень давние осени, осени своего детства, затем внезапно напряглась: она боялась воспоминаний. Тут она услышала голос Пьера:

- Агата, где ты?

- Иду, - отозвалась она.

Потом открыла дверь и вошла в комнату.

Пока она таращила глаза и простирала руки, густой запах ладана заполнил ее ноздри и рот - запах и полумрак были для нее уже давно одной стихией, едкой, поглощающей шум, такой же простой и привычной, как вода, воздух или огонь. Она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, парило в тумане. Это было лицо Пьера (с самого начала своей болезни он одевался во все черное), одежда его сливалась с темнотой. Пьер откинул голову назад и прикрыл глаза. Он был красив. Ева посмотрела на его длинные загнутые ресницы, затем присела рядом с ним на низкий стульчик. «У него страдающий вид», - подумала она. Мало-помалу ее глаза привыкали к полумраку. Первым всплыл письменный стол, потом кровать, затем его вещи: ножницы, пузырек с клеем, книги, гербарий, лежащие рядом на кресле.

- Агата?

Пьер открыл глаза и с улыбкой взглянул на нее.

- Насчет вилки, - сказал он. - Я это сделал, чтобы испугать того типа. В ней почти ничего не было.

Опасения Евы улетучились, и она легко засмеялась.

- Тебе это очень хорошо удалось, - сказала она, - ты его ошеломил.

Пьер улыбнулся.

- Ты видела? Он ее какое-то время вертел, зажав в кулаке. Они не умеют брать вещи, они всегда сжимают их в кулаке.

- Это верно, - согласилась она.

Пьер слегка ударил ладонь левой руки указательным пальцем правой.

- Вот этим они их берут. Они приближают свои пальцы, и когда они хватают предмет, то зажимают в ладони, чтобы его убить. - Он говорил быстро, кончиками губ, вид у него был озадаченный. - Я спрашиваю себя, чего они хотят, - сказал он наконец. - Этот тип уже приходил. Почему его снова ко мне подослали? Если они хотят знать, что я делаю, они могут увидеть это на экране, им даже не нужно никуда идти. Они совершают ошибки. Я же не ошибаюсь, это мой главный козырь. Оффка, - сказал он, - оффка, - длинными своими руками он пошевелил у лба. - Сволочь! Оффка, паффка, суффка. Хочешь еще?

- Это колокол? - спросила Ева.

- Да. Он ушел? - продолжал Пьер сурово. - Этот тип их сподручный. Ты его знаешь, ты ходила с ним в гостиную.

Ева не ответила.

- Что ему надо? - спросил Пьер. - Он должен был тебе это сказать.

Она на мгновение заколебалась, затем ответила без обиняков:

- Он хочет, чтобы тебя заперли.

Когда Пьеру говорили правду спокойно, он не верил, нужно было ее выпалить разом, чтобы оглушить его и парализовать сомнения. Ева предпочитала вранью грубую прямоту: когда она ему врала и он вроде бы ей верил, Ева не могла удержаться от легкого ощущения превосходства, а потом сама себе ужасалась.

– Меня запереть! – иронически процедил он. – Да они рехнулись. Стены передо мной бессильны. А эти болваны думают, что стены меня остановят. Мне кажется, что есть все-таки две банды. Банда негра – основная, но есть еще банда самозванцев, которая пытается вмешиваться в игру, но совершает ошибку за ошибкой. – Он вздернул руку на ручку кресла и стал ее разглядывать. – Стены я пройду легко. Что ты ему ответила? – спросил он с любопытством.

– Что тебя не запрут.

Он пожал плечами.

– Не нужно было этого говорить. Ты тоже совершила ошибку, хоть и невольную. Нужно их вынудить открыть свои карты.

Он замолчал. Ева грустно опустила голову. «“Они их сжимают в кулаке!” Каким презрительным тоном он это сказал, и как это было справедливо. Я тоже сжимаю предметы в кулаке? Напрасно я стараюсь за собой следить, по-моему, большинство моих жестов его раздражает, только он этого не говорит». Ева снова почувствовала себя жалкой, как тогда, когда ей было четырнадцать лет и мадам Дарбеда, легкая и подвижная, говорила ей: «Неужели ты не знаешь, что делать со своими руками?» Она не осмеливалась пошевелиться, но именно в этот момент у нее возникло неодолимое желание сменить позу. Ева незаметно убрала ноги под стул, едва коснувшись ковра. Она взглянула на настольную лампу, цоколь которой Пьер покрасил в черный цвет, и на шахматы. Пьер оставил на доске только черные пешки. Иногда он вставал, подходил к столу, брал по одной пешке в руки. Он с ними разговаривал, называл их роботами, и, казалось, они понемногу оживали в его пальцах. Когда он их клал на место, Ева тоже их трогала (она понимала, что в эту минуту малость смешно): пешки снова становились маленькими фигурками из мертвого дерева, но в них оставалось что-то неопределенное и неуловимое – нечто живое, одухотворенное. «Это его предметы, – подумала она. – Моего в этой комнате ничего нет». Некогда у нее была какая-то мебель: зеркало, маленький трельяж с инкрустацией, перешедший к ней от бабушки. Пьер в шутку называл его «твой трельяж». Но теперь Пьер их присвоил: только ему одному открывали они сокровенную свою

суть. Ева могла их рассматривать часами: они проявляли злобное и обескураживающее упрямство, обнаруживая свою видимость – доктору Франшо и месье Дарбеда. «Однако, – подумала она с волнением, – все же я вижу их не так, как отец. Невозможно, чтобы я их видела такими, как видит он».

Она немного пошевелила коленями: отсидела ноги. Тело ее было напряжено, сковано и причиняло ей боль; она ощущала его слишком живым и бесстыдным: «Я хотела бы быть невидимой и оставаться здесь; видеть его, но чтобы он меня не видел. Я ему не нужна; я лишняя в этой комнате». Она слегка повернула голову и посмотрела на стену поверх Пьера. На стене были написаны какие-то зловещие слова. Ева это знала, но не могла их прочесть. Она часто смотрела на большие красные розы на обоях, пока они не начинали плясать в ее глазах. Сейчас в полумраке розы пылали. Угрожающие письма чаще всего были начертаны около потолка, слева над кроватью, но иногда они перемещались.

«Мне нужно встать, но я не могу и не могу сидеть дольше». На стене были также белые диски, похожие на ломтики лука. Диски вращались вокруг своей оси, и руки Евы начали дрожать. «Бывают моменты, когда я схожу с ума. Но нет, – подумала она с горечью, – я не могу сойти с ума. Это я просто нервничаю».

Вдруг она ощутила на своей руке руку Пьера.

– Агата, – с нежностью сказал он. Пьер улыбался, но держал ее руку кончиками пальцев с видимым отвращением, как если бы он взял за спинку краба и опасался его клешней. – Агата, – повторил он, – я так хотел бы тебе доверять.

Ева закрыла глаза и выдохнула. «Не нужно ничего отвечать, его недоверие возрастает, и он больше ничего мне не скажет».

Пьер отпустил ее руку.

– Я тебя люблю, Агата, – сказал он, – но не могу тебя понять. Почему ты все время в комнате? – Ева не ответила. – Скажи мне почему?

– Ты хорошо знаешь, что я тебя люблю, – ответила она сухо.

– Не верю, – сказал Пьер, – почему ты меня любишь? Я должен внушать тебе ужас: ведь я безумец. – Он улыбнулся, но вдруг стал серьезен. – Между тобой и мной стена. Я вижу тебя, я с тобой говорю, но ты по другую сторону. Что нам мешает любить друг друга? Мне кажется, что раньше все было проще. Например, в Гамбурге.

– Да, – сказала Ева грустно. «Все время Гамбург. Никогда он не говорит об их действительном прошлом». Ни Ева, ни он в Гамбурге не бывали.

– Мы гуляли вдоль каналов. Помнишь баржу? Черную баржу с собакой? – Пьер продолжал фантазировать. У него было странное выражение лица. – Я тебя держал за руку, но у тебя была тогда другая кожа. Я верил всему, что ты мне говорила. Молчать! – вдруг завопил он. Какое-то мгновение он прислушивался. – Сейчас они придут, – сказал он угрюмо.

Ева вздрогнула.

– Сейчас они придут? Я думала, они никогда больше не придут.

Уже три дня, как Пьер был спокоен: статуи не появлялись. Пьер испытывал ужасный страх перед ними, и когда они начинали с жужжанием летать по комнате, Ева опасалась худшего.

– Дай мне зиутру, – сказал Пьер.

Ева встала и взяла зиутру: сочлененные куски картона, которые Пьер склеил сам; он ею пользовался, чтобы заклинать статуи. Зиутра походила на паука. На одном из кусков картона Пьер написал: «Власть над кознями», а на другом: «Черный». На третьем нарисовал смеющееся лицо с прищуренными глазами, – это был Вольтер. Пьер схватил зиутру и стал ее мрачно разглядывать.

– Нет, она не может больше служить, – сказал он.

– Почему?

– Они изменили ее порядок.

– Ты сделаешь другую.

Он долго смотрел на нее.

– Ты этого хочешь? – спросил он сквозь зубы.

Ева разозлилась. «Каждый раз, когда они приходят, он знает заранее. Он никогда не ошибается. Как ему это удается?»

Зиутра жалко повисла на кончиках пальцев Пьера. «Он всегда находит причины, чтобы не пользоваться ею. В воскресенье, когда они пришли, он притворился, что потерял ее, но я видела ее за бутылочкой с клеем, и он не мог ее не заметить. Я себя спрашиваю, он ли их притягивает? Никогда нельзя понять, вполне ли он искренен». Иногда у Евы возникало впечатление, что Пьер помимо своей воли переполнен видениями. Но порой Пьер выглядел сознательным фантазером. «Да, он страдает. Но до какой степени он верит в статуи и негра? О статуях по крайней мере я знаю: он их не видит, он их только слышит, когда они проносятся, он отворачивает голову. Тем не менее он говорит, что видит их, он их описывает». Ева вспомнила багровое лицо доктора Франшо: «Дорогая мадам, все сумасшедшие – лгуны; вы только потеряете время, если захотите отличить то, что они ощущают реально, от того, что они воображают». Она вздрогнула. «При чем здесь Франшо? Я не хочу думать, как он».

Пьер встал, бросил зиутру в корзину для бумаг. «Я хочу думать, как ты», – прошептала она. Он ходил мелкими шажками, на цыпочках, прижав руки к бедрам, чтобы занимать по возможности меньше места. Потом он снова сел и отчужденно посмотрел на Еву.

– Нужно сделать черные обои, – сказал он, – в этой комнате слишком мало черного.

Он совсем утонул в кресле. Ева грустно смотрела на это скарредное тело, всегда готовое уйти, съежиться: руки, ноги, голова, казалось, могли сократиться до нуля. Пробило шесть часов; пианино смолкло. Ева вздохнула: статуи сразу не придут, им нужно время.

– Хочешь, я зажгу свет?

Она предпочитала ждать их не в темноте.

- Как знаешь, - сказал Пьер.

Ева зажгла маленькую лампу на письменном столе, и комнату заполнил красный туман. Пьер ждал тоже.

Он молчал, но губы его шевелились, в алом тумане они казались двумя темными пятнами. Ева любила губы Пьера. Прежде они были волнующими и чувственными, но теперь утратили свою плотоядность. Они размыкались, чуть подрагивая, и тут же смыкались. И все же только они жили на этом замурованном лице; они были подобны двум пугливым животным. Пьер мог бормотать вот так часами, но почти беззвучно. И тем не менее эти губы ее гипнотизировали. Ева про себя часто твердила: «Я люблю его рот». Пьер больше никогда не целовал ее. Казалось, ему стали отвратительны любые прикосновения: когда ночью она касалась его жадными сухими руками мужчины, впиваясь в его тело, ей чудилось, что в ответ ее мерзко ласкают женские руки с длинными ногтями. Часто он ложился одетым, и она понемногу стаскивала с него одежду. Однажды ему послышался чей-то хохот, и его припухшие губы панически прижались к ее рту. С той ночи он больше никогда ее не целовал.

- Агата, - попросил Пьер, - не смотри так на мой рот. - Ева опустила голову. - Я знаю, что можно научиться считывать с губ, - пояснил он заносчиво.

Его руки подрагивали на ручке кресла, указательный палец напрягся и стукнул трижды по большому, другие пальцы сжались: это было заклинание. «Сейчас начнется», - подумала она. Ей захотелось заключить Пьера в объятия.

Пьер начал громко говорить светским тоном:

- Ты помнишь Сан-Паули? - Не надо отвечать. Возможно, это могла быть ловушка. - Именно там я тебя узнал, - удовлетворенно сказал он. - Я тебя отнял у датского моряка. Мы чуть не подрались с ним, но я заплатил за выпивку, и он позволил тебя увести. Но все это было чистым фарсом.

«Он лжет, он не верит ни в одно слово. Он знает, что меня зовут не Агатой. Я ненавижу его, когда он лжет». Но она увидела его остановившиеся глаза, и гнев

ее тут же растаял. «Он не лжет, – подумала она, – он на пределе. Он чувствует, что они приближаются: он говорит, чтобы помешать себе слышать». Пьер схватился за ручки кресла. Его лицо было мертвенно-бледным, но он улыбался.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: [https://tellnovel.me/ru/sartr\\_zhan-pol/stena](https://tellnovel.me/ru/sartr_zhan-pol/stena)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)